

Неточка Незванова

Автор:

Федор Достоевский

Неточка Незванова

Федор Михайлович Достоевский

Современники Федора Михайловича Достоевского неоднозначно относились к его творчеству: одни ценили за умение передать реалистичную картину жизни любых персонажей – от уличного нищего до «его превосходительства», другие осуждали его произведения за вычурность и манерность, – но тем не менее все признавали его исключительный талант, как признают его и сейчас. Перед вами ранее произведение великого писателя.

Главная героиня романа Ф.М. Достоевского – Неточка – родилась в бедной семье. Ее отец умер, когда она была еще совсем маленькой, и мать вышла замуж за другого. Отчим считал себя талантливым музыкантом, часто выпивал и предавался мечтаниям о лучшей жизни. Случилось так, что в возрасте десяти лет Неточка осталась круглой сиротой. Достоевский очень тонко, психологично описывает ее жизнь с самого детства и до зрелого возраста, ее внутреннюю борьбу, изменения в характере, ее мечты и стремление к счастью.

Федор Михайлович Достоевский

Неточка Незванова

Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна: это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был понятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию. Все, что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от знаменитого скрипача Б., который был товарищем и коротким приятелем моего отчима в своей молодости.

Фамилия моего отчима была Ефимов. Он родился в селе очень богатого помещика, от одного бедного музыканта, который, после долгих странствований, поселился в имении этого помещика и нанялся в его оркестр. Помещик жил очень пышно и более всего, до страсти, любил музыку. Рассказывали про него, что он, никогда не выезжавший из своей деревни даже в Москву, однажды вдруг решил поехать за границу на какие-то воды, и поехал не более как на несколько недель, единственно для того, чтоб услышать какого-то знаменитого скрипача, который, как уведомляли газеты, собирался дать на водах три концерта. У него был порядочный оркестр музыкантов, на который он тратил почти весь доход свой. В этот оркестр мой отчим поступил кларнетистом. Ему было двадцать два года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который разорился на содержание домашнего театра. Этот граф отказал от должности капельмейстеру своего оркестра, родом итальянцу, за дурное поведение. Капельмейстер был действительно дурной человек. Когда его выгнали, он совершенно унизился, стал ходить по деревенским трактирам, напивался, иногда просил милостыню, и уже никто в целой губернии не хотел дать ему места. С этим-то человеком подружился мой отчим. Связь эта была необъяснимая и странная, потому что никто не замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в своем поведении из подражания товарищу, и даже сам помещик, который сначала запрещал ему водиться с итальянцем, смотрел потом сквозь пальцы на их дружбу. Наконец, капельмейстер умер скоропостижно. Его нашли поутру крестьяне во рву, у плотины. Нарядили следствие, и вышло, что он умер от апоплексического удара. Имущество его сохранялось у отчима, который тотчас же и представил доказательства, что имел полное право наследовать этим имуществом: покойник оставил собственноручную записку, в которой делал Ефимова своим наследником в случае своей смерти. Наследство состояло из черного фрака, тщательно сберегавшегося покойником, который все еще надеялся достать себе место, и скрипки, довольно обыкновенной с виду. Никто не оспаривал этого наследства. Но только спустя несколько времени к помещику

явился первый скрипач графского оркестра с письмом от графа. В этом письме граф просил, уговаривал Ефимова продать скрипку, оставшуюся после итальянца и которую граф очень желал приобрести для своего оркестра. Он предлагал три тысячи рублей и прибавлял, что уже несколько раз посылал за Егором Ефимовым, чтоб покончить торг лично, но что тот упорно отказывался. Граф заключал тем, что цена скрипки настоящая, что он не сбавляет ничего и в упорстве Ефимова видит для себя обидное подозрение воспользоваться при торге его простотою и незнанием, а потому и просил вразумить его.

Помещик немедленно послал за отчимом.

– Для чего ж ты не хочешь отдать скрипку? – спросил он его, – она тебе не нужна. Тебе дают три тысячи рублей, это цена настоящая, и ты делаешь неразумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать.

Ефимов отвечал, что к графу он сам не пойдет, но если его пошлют, то на это будет воля господская; графу он скрипку не продаст, А если у него захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская.

Ясное дело, что таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере помещика. Дело в том, что тот всегда с гордостью говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты и что, благодаря им, его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного.

– Хорошо! – отвечал помещик. – Я уведомлю графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что ты не хочешь, потому что ты в полном праве продать или не продать, понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю: зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам три тысячи. (Кто знал, что это такой инструмент!)

Ефимов усмехнулся.

– Нет, сударь, я вам ее не продам, – отвечал он, – конечно, ваша воля...

– Да разве я тебя притесняю, разве я тебя принуждаю! – закричал помещик, выведенный из себя, тем более что дело происходило при графском музыканте,

который мог заключить по этой сцене очень невыгодно об участии всех музыкантов помещичьего оркестра. – Ступай же вон, неблагодарный! Чтоб я тебя не видал с этих пор! Куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты сыт, одет, получаешь жалованье; ты живешь на благородной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же вон и не раздражай меня своим присутствием!

Помещик гнал от себя всех, на кого сердился, потому что боялся за себя и за свою горячность. А ни за что бы он не захотел поступить слишком строго с «артистом», как он называл своих музыкантов.

Торг не состоялся, и, казалось, тем дело и кончилось, как вдруг, через месяц, графский скрипач затеял ужасное дело: под своею ответственностью он подал на моего отчима донос, в котором доказывал, что отчим виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстною целью: овладеть богатым наследством. Он доказывал, что завещание было выманено насильно, и обещался представить свидетелей своему обвинению. Ни просьбы, ни увещания графа и помещика, вступившегося за моего отчима, – ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде, не успев овладеть драгоценным инструментом, который для него покупали. Музыкант стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход. Ефимова взяли, отослали в городскую тюрьму. Началось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно пошло очень быстро и кончилось тем, что музыкант был уличен в ложном доносе. Его приговорили к справедливому наказанию, но он до конца стоял на своем и уверял, что он прав. Наконец он сознался, что не имеет никаких доказательств, что доказательства, им представленные, выдуманы им самим, но что, выдумывая все это, он действовал по предположению, по догадке, потому что до сей поры, когда уже было произведено другое следствие, когда уже формально была доказана невинность Ефимова, он все еще остается в полном убеждении, что причиною смерти несчастного капельмейстера был Ефимов, хотя, может быть, он уморил его не отравой, а другим каким-нибудь образом. Но над ним не успели исполнить приговора: он внезапно заболел воспалением в мозгу, сошел с ума и умер в тюремном лазарете.

В продолжение всего этого дела помещик вел себя самым благородным образом. Он старался о моем отчине так, как будто тот был его родной сын. Несколько раз он приезжал к нему в тюрьму утешать его, дарил ему денег, привозил к нему лучших сигар, узнав, что Ефимов любил курить, и, когда отчим оправдался, задал праздник всему оркестру. Помещик смотрел на дело Ефимова как на дело, касающееся всего оркестра, потому что хорошим поведением своих музыкантов он дорожил если не более, то по крайней мере наравне с их дарованиями. Прошел целый год, как вдруг по губернии разнесся слух, что в губернский город приехал какой-то известный скрипач, француз, и намерен дать мимоездом несколько концертов. Помещик тотчас же начал стараться каким-нибудь образом залучить его к себе в гости. Дело шло на лад; француз обещался приехать. Уже все было готово к его приезду, позван был почти целый уезд, но вдруг все приняло другой оборот.

В одно утро докладывают, что Ефимов исчез неизвестно куда. Начались поиски, но и след простыл. Оркестр был в чрезвычайном положении: не доставало кларнета, как вдруг, три дня спустя после исчезновения Ефимова, помещик получает от француза письмо, в котором тот надменно отказывался от приглашения, прибавляя, конечно обиняками, что впредь будет чрезвычайно осторожен в сношениях с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов, что неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены, и что, наконец, пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого он только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости слов его.

Прочтя это письмо, помещик был в глубоком изумлении. Он был огорчен до глубины души. Как? Ефимов, тот самый Ефимов, о котором он так заботился, которому он так благодетельствовал, этот Ефимов так беспощадно, бессовестно оклеветал его в глазах европейского артиста, такого человека, мнением которого он высоко дорожил! И наконец, письмо было необъяснимо в другом отношении: уведомляли, что Ефимов артист с истинным талантом, что он скрипач, но что не умели угадать его таланта и принуждали его заниматься другим инструментом. Все это так поразило помещика, что он немедленно собрался ехать в город для свидания с французом, как вдруг получил записку от графа, в которой тот приглашал его немедленно к себе и уведомлял, что ему известно все дело, что заезжий виртуоз теперь у него, вместе с Ефимовым, что он, будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, приказал задержать его и что, наконец, присутствие помещика необходимо и потому еще, что обвинение Ефимова касается даже самого графа; дело это очень важно, и нужно его разъяснить как можно скорее.

Помещик, немедленно отправившись к графу, тотчас же познакомился с французом и объяснил всю историю моего отчима, прибавив, что он не подозревал в Ефимове такого огромного таланта, что Ефимов был у него, напротив, очень плохим кларнетистом и что он только в первый раз слышит, будто оставивший его музыкант – скрипач. Он прибавил еще, что Ефимов человек вольный, пользовался полною свободою и всегда, во всякое время, мог бы оставить его, если б действительно был притеснен. Француз был в удивлении. Позвали Ефимова, и его едва можно было узнать: он вел себя заносчиво, отвечал с насмешкою и настаивал в справедливости того, что успел наговорить французам. Все это до крайности раздражило графа, который прямо сказал моему отчиму, что он негодяй, клеветник и достоин самого постыдного наказания.

– Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я уже довольно с вами знаком и знаю вас хорошо, – отвечал мой отчим, – по вашей милости, я едва ушел от уголовного наказания. Знаю, по чьему наущенью Алексей Никифорович, ваш бывший музыкант, донес на меня.

Граф был вне себя от гнева, услышав такое ужасное обвинение. Он едва мог совладеть с собою; но случившийся в зале чиновник, который заехал к графу по делу, объявил, что он не может оставить всего этого без последствий, что обидная грубость Ефимова заключает в себе злое, несправедливое обвинение, клевету и он покорнейше просит позволить арестовать его сейчас же, в графском доме. Француз изъявил полное негодование и сказал, что не понимает такой черной неблагодарности. Тогда мой отчим ответил с запальчивостью, что лучше наказание, суд и хоть опять уголовное следствие, чем то житье, которое он испытал до сих пор, состоя в помещичьем оркестре и не имея средств оставить его раньше, за своею крайнею бедностью, и с этими словами вышел из залы вместе с арестовавшими его. Его заперли в отдаленную комнату дома и пригрозили, что завтра же отправят его в город.

Около полуночи отворилась дверь в комнату арестанта. Вошел помещик. Он был в халате, в туфлях и держал в руках зажженный фонарь. Казалось, он не мог заснуть, и мучительная забота заставила его в такой час оставить постель. Ефимов не спал и с изумлением взглянул на вошедшего. Тот поставил фонарь и в глубоком волнении сел против него на стул.

– Егор, – сказал он ему, – за что ты так обидел меня?

Ефимов не отвечал. Помещик повторил свой вопрос, и какое-то глубокое чувство, какая-то странная тоска звучала в словах его.

– А бог знает, за что я так обидел вас, сударь! – отвечал наконец мой отчим, махнув рукою, – знать, бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на все это наталкивает! Ну, не житье мне у вас, не житье... Сам дьявол привязался ко мне!

– Егор! – начал снова помещик, – воротись ко мне; я все позабуду, все тебе прощу. Слушай: ты будешь первым из моих музыкантов; я положу тебе не в пример другим жалованье...

– Нет, сударь, нет, и не говорите: не жилец я у вас! Я вам говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу, коли останусь; на меня находит, и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться! Теперь я и за себя отвечать не могу: уж вы лучше, сударь, оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мною...

– Кто? – спросил помещик.

– А вот, что издох как собака, от которой свет отступился, итальянец.

– Это он тебя, Егорушка, играть выучил?

– Да! Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видеть.

– Разве и он был мастер на скрипке, Егорушка?

– Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился; он только показывал, – и легче, чтоб у меня рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не знаю, чего хочу. Вот спросите, сударь: «Егорка! чего ты хочешь? все могу тебе дать», – а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем что сам не знаю, чего хочу. Нет, уж вы лучше, сударь, оставьте меня, в другой раз говорю. Уж я что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб меня куда-нибудь подальше спровадили, да и дело с концом!

– Егор! – сказал помещик после минутного молчания, – я тебя так не оставлю. Коли не хочешь служить у меня, ступай; ты же человек вольный, держать тебя я не могу; но я теперь так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке, сыграй! ради бога, сыграй! Я тебе не приказываю, пойми ты меня, я тебя не принуждаю; я тебя прошу слезно: сыграй мне, Егорушка, ради бога, то, что ты французу играл! Отведи душу! Ты упрям, и я упрям; знать, у меня тоже свой норов, Егорушка! Я тебя чувствую, почувствуй и ты, как я. Жив не могу быть, покамест ты мне не сыграешь того, по своей доброй воле и охоте, что французу играл.

– Ну, быть так! – сказал Ефимов. – Дал я, сударь, зарок никогда перед вами не играть, именно перед вами, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз, и больше, сударь, вам никогда и нигде меня не услышать, хоть бы тысячу рублей мне посулили.

Тут он взял скрипку и начал играть свои вариации на русские песни. Б. говорил, что эти вариации – его первая и лучшая пьеса на скрипке и что больше он никогда ничего не играл так хорошо и с таким вдохновением. Помещик, который и без того не мог равнодушно слышать музыку, плакал навзрыд. Когда игра кончилась, он встал со стула, вынул триста рублей, подал их моему отчиму и сказал:

– Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам все улажу с графом; но слушай: больше уж ты со мной не встречайся. Перед тобой дорога широкая, и коль столкнемся на ней, так и мне и тебе будет обидно. Ну, прощай!.. Подожди! еще один мой совет тебе на дорогу, только один: не пей и учись, все учись; не зазнавайся! Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Смотри же, еще раз повторяю: учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя (а горя-то много будет!) – пиши пропало, все к бесу пойдет, и, может, сам где-нибудь во рву, как твой итальянец, издохнешь. Ну, теперь прощай!.. Постой, поцелуй меня!

Они поцеловались, и вслед за тем мой отчим вышел на свободу.

Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои триста рублей, побратавшись в то же время с самой черной, грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что, оставшись один в нищете и без всякой помощи, вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, может быть, единственной скрипки. Все это не совсем согласовалось с его первоначальными

намерениями, которые состояли в том, чтоб как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не сладилось. Мой отчим скоро поссорился с антрепренером странствующего театра и оставил его. Тогда он совершенно упал духом и даже решился на отчаянную меру, глубоко язвившую его гордость. Он написал письмо к известному нам помещику, изобразил ему свое положение и просил денег. Письмо было написано довольно независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он написал другое, в котором, в самых унижительных выражениях, называя помещика своим благодетелем и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец ответ пришел. Помещик прислал сто рублей и несколько строк, писанных рукою его камердинера, в которых объявлял, чтоб впредь избавить его от всяких просьб. Получив эти деньги, отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург, но, по расплате долгов, денег оказалось, так мало, что о путешествии нельзя было и думать. Он снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинциальный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя таким образом с одного места на другое, с вечной идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, пробыл в провинции целые шесть лет. Наконец какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел его талант, беспрерывно стесняемый беспорядочною, нищенскою жизнью, и в одно утро он бросил своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б., который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. еще был в первой молодости; он перенес еще мало нищеты и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет, – тогда как товарищу его было уже тридцать лет, тогда как уже он устал, утомился, потерял всякое терпение и выбился из первых, здоровых сил своих, принужденный целые семь лет из-за куска хлеба бродяжничать по провинциальным театрам и по оркестрам помещиков. Его поддерживала только одна вечная, неподвижная идея – выбиться наконец из скверного положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная; это был какой-то неотразимый внутренний призыв, который наконец с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова, и когда он явился в Петербург, то уже действовал почти бессознательно, по какой-то вечной, старинной привычке вечного желания и обдумывания этого путешествия и почти уже сам не зная, что придется ему делать в столице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный,

порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение. Этот непрерывный восторг порастил холодного, методического Б.; он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение – не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и непрерывной фантазии, непрерывной мечты о собственном гении. «Но, – рассказывал Б., – я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась въявь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего. Мало того, что он хотел быть первоклассным гением, одним из первых скрипачей в мире; мало того, что уже почитал себя таким гением, – он, сверх того, думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня, – прибавлял Б., – то, что в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства, – было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Он до того сильно чувствовал его и понимал про себя, что не диво, если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя, вместо глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науки, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись, и я много обязан ему, – прибавлял Б., – ему и его советам в собственном усовершенствовании. Что же касается до меня, – продолжал Б., – то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду, в собственном смысле, чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан непрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему

самоудовлетворению и к лени как естественному последствию этого самоудовлетворения».

Б. в свою очередь попробовал поделиться советами со своим товарищем, которому так подчинился в самом начале, но только напрасно сердил его. Между ними последовало охлаждение. Вскоре Б. заметил, что товарищем его все чаще и чаще начинает овладевать апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже и что за всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец, Ефимов начал оставлять свою скрипку и не притрогивался иногда к ней по целым неделям. До совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки. От чего предостерегал его помещик, то и случилось: он предался неумеренному пьянству. Б. с ужасом смотрел на него; советы его не действовали, да и, кроме того, он боялся выговорить слово. Мало-помалу Ефимов дошел до самого крайнего цинизма: он нисколько не совестился жить на счет Б. и даже поступал так, как будто имел на то полное право. Между тем средства к жизни истощались; Б. кое-как перебивался уроками или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые хотя понемногу, но что-нибудь платили. Ефимов как будто не хотел и заметить нужды своего товарища: он обращался с ним сурово и по целым неделям не удостоивал его ни одним словом. Однажды Б. заметил ему самым кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента; тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки, как будто воображая, что кто-нибудь будет упрашивать его о том на коленях. Другой раз Б. понадобился товарищ, чтоб играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он с запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач и не будет так подл, как Б., чтоб унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в его игре и таланте. Б. не ответил на это ни слова, но Ефимов, надумавшись об этом приглашении в отсутствие своего товарища который ушел играть, вообразил, что все это было только намеком на то, что он живет на счет Б., и желание дать знать, чтоб он тоже попробовал зарабатывать деньги. Когда Б. воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за подлость его поступка и объявил что не останется более с ним не минуты. Он действительно исчез куда-то на два дня, но на третий явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь.

Только прежняя свчка и дружба да еще сострадание, которое чувствовал Б. к погибшему человеку, удерживали его от намерения кончить такое безобразное житье и расстаться навсегда со своим товарищем. Наконец они расстались. Б.

улыбнулось счастье: он приобрел чье-то сильное покровительство, и ему удалось дать блестящий концерт. В это время он уже был превосходный артист, и скоро его быстро возрастающая известность доставила ему место в оркестре оперного театра, где он так скоро составил себе вполне заслуженный успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный путь. Б. и теперь не может вспомнить об нем без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым было одним из самых глубоких впечатлений его молодости. Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая странность, самые грубые, резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б. еще сильнее. Б. понимал его; он видел его насквозь и предугадывал, чем все это кончится. При расставании они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов, сквозь слезы и рыдания, проговорил, что он погибший, несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель.

– У меня нет таланта! – заключил он, побледнев как мертвый.

Б. был сильно тронут.

– Послушай, Егор Петрович, – говорил он ему, – что ты над собою делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием; у тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет таланта. Неправда! У тебя есть талант, я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уж по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всю твою жизнь. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бессознательно то же отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобою делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя только с одними неясными стремлениями и, главное, не объяснил тебе тебя же самого. Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои шесть лет бедности и нищеты не погибли даром; ты учился, ты думал, ты создавал себя и свои силы, ты понимаешь теперь искусство и свое назначение. Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее моего: ты во сто раз более художник, чем я; но дай бог тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик, а главное – начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит?

бедность, нищета. Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда – ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавами. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь! Ты еще совсем не так беден, ты можешь жить, не пренебрегай черной работой, руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив, ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты, ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове; ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешься на силы свои, так иди на авось; в тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше авось – дело великое!

Ефимов слушал своего бывшего товарища с глубоким чувством. Но по мере того как он говорил, бледность сходила со щек его; они оживились румянцем; глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. Скоро эта благородная смелость перешла в самоуверенность, потом в обычную дерзость, и, наконец, когда Б. оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал его рассеянно и с нетерпением. Однакож он горячо сжал ему руку, поблагодарил его и, скорый в своих переходах от глубокого самоуничтожения и уныния до крайней надменности и дерзости, объявил самонадеянно, чтоб друг его не беспокоился об его участи, что он знает, как устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать себе покровительство, даст концерт и тогда разом зазовет себе и славу и деньги. Б. пожал плечами, но не противоречил своему бывшему товарищу, и они расстались, хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый, наконец Б. потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор

он потерял его совсем из виду.

Прошло несколько лет. Один раз Б., возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке, у входа в грязный трактир, на человека дурно одетого, хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился, пожелтел, отек в лице; видно было, что беспутная жизнь положила на него свое клеймо неизгладимым образом. Б. обрадовался чрезвычайно и, не успев перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир, куда тот потащил его. Там, в отдаленной маленькой закопченной комнате, он разглядел поближе своего товарища. Тот был почти в лохмотьях, в худых сапогах; растрепанная манишка его была вся залита вином. Волосы на голове его начали седеть и вылезать.

– Что с тобою? Где ты теперь? – спрашивал Б.

Ефимов сконфузился, даже сробел сначала, отвечал бессвязно и отрывисто, так что Б. подумал, что он видит пред собою помешанного. Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-то бойким жестом; но вышло что-то нахальное, выделанное, назойливое, так что все было очень жалко и возбудило сострадание в добром Б., который увидел, что опасения его сбылись вполне. Однако ж он приказал подать водки. Ефимов изменился в лице от благодарности и до того потерялся, что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля. За обедом Б. узнал с величайшим удивлением, что несчастный женат. Но еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена составила все его несчастье и горе и что женитьба убила вполне весь талант его.

– Как так? – спросил Б.

– Я, брат, уже два года как не беру в руки скрипку, – отвечал Ефимов. – Баба, кухарка, необразованная, грубая женщина. Чтоб ее!.. Только деремса, больше ничего не делаем.

– Да зачем же ты женился, коли так?

– Есть было нечего. Я познакомился с ней; у ней было рублей с тысячу: я и женился очертя голову. Она же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею.

Кто ее наталкивал! Деньги прожиты, пропиты, братец, и – какой тут талант! Все пропало!

Б. увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то перед ним оправдаться.

– Все бросил, все бросил, – прибавил он. Тут он ему объявил, что в последнее время почти достиг совершенства на скрипке, что, пожалуй, хотя Б. и из первых скрипачей в городе, а ему и в подметки не станет, если он захочет того.

– Так за чем же дело стало? – сказал удивленный Б. – Ты бы искал себе места?

– Не стоит! – сказал Ефимов, махнув рукою. – Кто из вас там хоть что-нибудь понимает! Что вы знаете? Шиш, ничего, вот что вы знаете! Плясовую какую-нибудь в балетце каком прогудеть – ваше дело. Скрипачей-то вы дорогих и не видали и не слыхали. Чего вас трогать; оставайтесь себе, как хотите!

Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на стуле, потому что порядочно охмелел. Затем он стал звать к себе Б.; но тот отказался, взял его адрес и уверил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который теперь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уколоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу Б. и подал ее, как низший высшему. Проходя мимо первой комнаты, он остановился и отрекомендовал Б. трактирщикам и публике как первую и единственную скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрезвычайно грязен в эту минуту.

Б., однако ж, отыскал его на другое утро на чердаке, где все мы жили тогда в крайней бедности, в одной комнате. Мне было тогда четыре года, и уже два года тому, как матушка моя вышла за Ефимова. Это была несчастная женщина. Прежде она была гувернантка, была прекрасно образована, хороша собой и, по бедности, вышла замуж за старика чиновника, моего отца. Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер скоропостижно и скудное наследство было разделено между его наследниками, матушка осталась одна со мною, с ничтожною суммою денег, которая досталась на ее долю. Идти в гувернантки опять, с малолетним ребенком на руках, было трудно. В это время, каким-то случайным образом, она встретила с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности; воображению ее

льстила славная участь быть опорой, руководительницей гениального человека, и она вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все ее мечты и надежды, и перед ней осталась жалкая действительность. Ефимов который действительно женился, может быть, из-за того, что у матушки моей была какая-нибудь тысяча рублей денег, как только они были прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что ему нельзя было работать в душной комнате, глаз на глаз с голодным семейством, что тут не пойдут на ум песни да музыка и что, наконец, видно, ему на роду написано было такое несчастье. Кажется, он и сам потом уверялся в справедливости своих жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке. Казалось, этот несчастный, погибший талант сам искал внешнего случая, на который бы можно было свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением, и, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разувериться в том, что так долго составляло всю жизнь его, и до последней минуты своей думал, что минута еще не ушла. В часы сомнения он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец, он, может быть, сам не знал, как необходима была ему жена в это время. Это была живая отговорка, и, действительно, мой отчим чуть не помешался на той идее, что, когда он схоронит жену, которая погубила его, все пойдет своим чередом. Бедная матушка не понимала его. Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого шага в враждебной действительности: она сделалась вспыльчива, желчна, бранлива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить ее, и беспрестанно гнала его за работу. Но ослепление, неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что, не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно больною, вечно страждущею, жила в непрерывных терзаниях, и кроме всего этого горя на нее одну пала вся забота о пропитании семейства. Она начала готовить кушанье и сначала открывала у себя стол для приходящих. Но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она принуждена была часто отправлять вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала. Когда Б. посетил нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы все кое-как перебивались на нашем чердаке.

Нищета нашего семейства поразила Б.

– Послушай, вздор ты все говоришь, – сказал он отчиму, – где тут убитый талант? Она же тебя кормит, а ты что тут делаешь?

– А ничего! – отвечал отчим.

Но Б. еще не знал всех бедствий матушки. Муж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было!

Б. долго убеждал своего прежнего товарища; наконец объявил ему, что если он не захочет исправиться, то ни в чем ему не поможет; сказал без околичностей, что денег ему не даст, потому что он их пропьет, и попросил наконец сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтоб посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же отчим пошел за скрипкой, Б. потихоньку стал давать денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей приходилось принимать подаяние! Тогда Б. отдал их мне, и бедная женщина залилась слезами. Отчим принес скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и расходился.

– Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе, – сказал он Б. и вытащил толстую запыленную тетрадь из-под комода.

– Все это я сам написал, – сказал он, указывая на тетрадь. – Вот ты увидишь! Это, брат, не ваши балетцы!

Б. молча просмотрел несколько страниц; потом развернул ноты, которые были при нем, и попросил отчима, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что он сам принес.

Отчим немного обиделся, однакож, боясь потерять новое покровительство, исполнил приказание Б. Тут Б. увидел, что прежний товарищ его действительно много занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хвалился, что уже с самой женитьбы не берет в руки инструмента. Надобно было видеть радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им. Искренно обрадовавшись, добрый Б. решился пристроить отчима. Он уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить и рекомендовать своего бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо. А покамест он одел его получше, на свой счет, и повел к некоторым известным

лицам, от которых зависело то место, которое он хотел достать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только на словах, но, кажется, с величайшей радостью принял предложение своего старого друга. Б. рассказывал, что ему становилось стыдно за всю лесть и за все униженное поклонение, которыми отчим старался его задобрить, боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он понимал, что его ставят на хорошую дорогу, и даже перестал пить. Наконец ему приискали место в оркестре театра. Он выдержал испытание хорошо, потому что в один месяц прилежания и труда воротил все, что потерял в полтора года бездействия, обещал и впредь заниматься и быть исправным и точным в своих новых обязанностях. Но положение нашего семейства совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни копейки из жалованья, все проживал сам, пропивал и проедал с новыми приятелями, которых тотчас же завел целый кружок. Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами – одним словом, с таким народом, между которым мог первенствовать, и избегал людей истинно талантливых. Он успел им внушить к себе какое-то особенное уважение, тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом, что его сгубила жена и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. Наконец, он начал толковать какую-то новую теорию музыки, – словом, надоел всему оркестру, перессорился с товарищами, с капельмейстером, грубил начальству, приобрел репутацию самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем самого ничтожного человека и довел до того, что стал для всех невыносимым.

И действительно, было чрезвычайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и нерадивый музыкант в то же время с такими огромными претензиями, с такою хвастливостью, чванством, с таким резким тоном.

Кончилось тем, что отчим поссорился с Б., выдумал самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пустил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из оркестра после полугодовой беспорядочной службы за нерадивость в исполнении обязанности и нетрезвое поведение. Но он не покинул так скоро своего места. Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что порядочное платье все было снова продано и заложено. Он стал приходить к прежним сослуживцам, рады или не рады были они такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор, плакался на свое житье-бытье и звал всех к себе глядеть злодейку жену его. Конечно, нашлись слушатели, нашлись такие люди, которые находили удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставляя его болтать всякий

вздор. К тому же он говорил всегда остро и умно и пересыпал свою речь едкою желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям. Его принимали за какого-то сумасбродного шута, которого иногда приятно заставить болтать от безделья. Любили дразнить его, говоря при нем о каком-нибудь новом заезде скрипаче. Слыша это, Ефимов менялся в лице, робел, разузнавал, кто приехал и кто такой новый талант, и тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется, только с этих пор началось его настоящее систематическое помешательство – его неподвижная идея о том, что он первейший скрипач, по крайней мере в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. Последнее даже льстило ему, потому что есть такие характеры, которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными, жаловаться на это вслух или утешать себя втихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию. Всех петербургских скрипачей он знал наперечет и, по своим понятиям, ни в ком из них не находил себе соперника. Знатоки и дилетанты, которые знали несчастного сумасброда, любили заговорить при нем о каком-нибудь известном, талантливом скрипаче, чтоб заставить его говорить в свою очередь. Они любили его злость, его едкие замечания, любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперников. Часто не понимали его, но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости. Даже эти самые артисты, над которыми он так насмехался, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападок его и в справедливости его суждения в том случае, когда нужно было хулить. Его как-то привыкли видеть в коридорах театра и за кулисами. Служители пропускали его беспрепятственно, как необходимое лицо, и он сделался каким-то домашним Ферситом.[1 - Ферсит (Терсит) – в греческой мифологии незнатный воин, враг Ахилла и Одиссея.] Такое житье продолжалось года два или три; но наконец он наскучил всем даже и в этой последней роли. Последовало формальное изгнание, и, в последние два года своей жизни, отчим как будто в воду канул и его уже нигде не видали. Впрочем, Б. встретил его два раза, но в таком жалком виде, что сострадание еще раз взяло в нем верх над отвращением. Он позвал его, но отчим обиделся, сделал вид, будто ничего не слышал, нахлобучил на глаза свою старую исковерканную шляпу и прошел мимо. Наконец, в какой-то большой праздник Б. доложили поутру, что пришел его поздравить прежний товарищ его, Ефимов. Б. вышел к нему. Ефимов стоял хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в комнаты. Смысл его поступка был тот, что где, дескать, нам, бесталанным людям, водиться с такою знатью, как вы; что для нас, маленьких людей, довольно и лакейского места, чтоб с праздником поздравить: поклонимся

и уйдем отсюда. Одним словом, все было сально, глупо и отвратительно гадко. С этих пор Б. очень долго не видал его, ровно до самой катастрофы, которую разрешилась вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всею моею жизнью. Вот каким образом случилась она... Но прежде я должна объяснить, что такое было мое детство и что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиною смерти моей бедной матушки.

II

Я начала себя помнить очень поздно, только с девятого года. Не знаю, каким образом все, что было со мною до этого возраста, не оставило во мне никакого ясного впечатления, о котором бы я могла теперь вспомнить. Но с половины девятого года я помню все отчетливо, день за днем, непрерывно, как будто все, что ни было потом, случилось не далее как вчера. Правда, я могу как будто во сне припомнить что-то и раньше: всегда затепленную лампаду в темном углу, у старинного образа; потом как меня однажды сшибла на улице лошадь, отчего, как мне после рассказывали, я пролежала больная три месяца; еще как во время этой болезни, ночью, проснулась я подле матушки, с которою лежала вместе, как я вдруг испугалась моих болезненных сновидений, ночной тишины и скребшихся в углу мышей и дрожала от страха всю ночь, забиваясь под одеяло, но не смея будить матушку, из чего и заключаю, что ее я боялась больше всякого страха. Но с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны. Все прояснялось передо мной, все чрезвычайно скоро становилось понятным. Время, с которого я начинаю себя хорошо помнить, оставило во мне резкое и грустное впечатление; это впечатление повторялось потом каждый день и росло с каждым днем; оно набросило темный и странный колорит на все время житья моего у родителей, а вместе с тем – и на все мое детство.

Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна (хотя тогда это, разумеется, не было для меня так поразительно). Я очутилась в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серою краскою; в углу стояла огромная русская печь; окна выходили

на улицу или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома и были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню, как мне нужно было подставлять стул, скамейку и потом уже кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода; мы жили под самой кровлей в шестиэтажном, огромнейшем доме. Вся наша мебель состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего в пыли и в мочалах, простого белого стола, двух стульев, матушкиной постели, шкафчика с чем-то в углу, комода, который всегда стоял, покачнувшись набок, и разодранных бумажных ширм.

Помню, что были сумерки; все было в беспорядке и разбросано: щетки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и не знаю что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчим сидел в углу в своем всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило ее еще более, и тогда опять полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном испуге и крепко обняла батюшку, чтоб заслонить его собою. Бог знает отчего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват; мне хотелось просить за него прощения, вынести за него какое угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Матушка сначала изумилась, потом схватила меня за руку и оттащила за ширмы. Я ушибла о кровать руку довольно больно; но испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня (я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо после узнала, что он мне не родной). Вся эта сцена продолжалась часа два, и я, дрожа от ожидания, старалась всеми силами угадать, чем все это кончится. Наконец ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к груди его. Это была, может быть, первая ласка родительская, может быть, оттого-то и я начала все так отчетливо помнить с того времени. Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась, и тут, кажется в первый раз, меня поразила идея, что он много терпит и выносит горя от матушки. С тех пор эта идея осталась при мне навсегда и с каждым днем все более и более возмущала меня.

С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то сострадательное, материнское чувство, если б такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения, до того задавленным, до того страдальцем, что для

меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. Но до сих пор не понимаю, почему именно могло войти мне в голову, что отец мой такой страдалец, такой несчастный человек в мире! Кто мне внушил это? Каким образом я, ребенок, могла хоть что-нибудь понять в его личных неудачах? А я их понимала, хотя перетолковав, переделав все в моем воображении по-своему; но до сих пор не могу представить себе, каким образом составилось во мне такое впечатление. Может быть, матушка была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу как к существу, которое, по моему мнению, страдает вместе со мною, заодно.

Я уже рассказала первое пробуждение мое от младенческого сна, первое движение мое в жизни. Сердце мое было уязвлено с первого мгновения, и с непостижимою, утомляющею быстротой началось мое развитие. Я уже не могла довольствоваться одними внешними впечатлениями. Я начала думать, рассуждать, наблюдать; но это наблюдение произошло так неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. Все вокруг меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто рассказывал мне отец и которую я не могла не принять, в то время, за чистую истину. Родились странные понятия. Я очень хорошо узнала, – но не знаю, как это сделалось, – что живу в странном семействе и что родители мои как-то вовсе не похожи на тех людей, которых мне случалось встречать в это время. «Отчего, – думала я, – отчего я вижу других людей, как-то и с виду непохожих на моих родителей? отчего я замечала смех на других лицах и отчего меня тут же поражало то, что в нашем углу никогда не смеются, никогда не радуются?» Какая сила, какая причина заставила меня, девятилетнего ребенка, так прилежно осматриваться и вслушиваться в каждое слово тех людей, которых мне случалось встречать или на нашей лестнице, или на улице, когда я по вечеру, прикрыв свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой, шла в лавочку с медными деньгами купить на несколько грошей сахару, чаю или хлеба? Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу – какое-то вечное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так, и не знаю, кто мне помог разгадать все это по-своему: я обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца, и опять говорю: не понимаю, как такое чудовищное понятие могло составиться в моем воображении. И насколько я привязалась к отцу, настолько возненавидела мою бедную мать. До сих пор воспоминание обо всем этом глубоко и горько терзает меня. Но вот другой случай, который еще более, чем первый, способствовал моему странному сближению с отцом. Раз, в десятом часу вечера, матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я

упала на улице и пролила всю чашку. Первая моя мысль была о том, как рассердится матушка. Между тем я чувствовала ужасную боль в левой руке и не могла встать. Кругом меня остановились прохожие; какая-то старушка начала меня поднимать, а какой-то мальчик, пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. Наконец меня поставили на ноги, я подобрала черепки разбитой чашки и пошла, шатаясь едва передвигая ноги. Вдруг я увидела батюшку. Он стоял в толпе перед богатым домом, который был против нашего. Этот дом принадлежал каким-то знатым людям и был великолепно освещен; у крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила батюшку за полу сюртука, показала ему разбитую чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к матушке. Я как-то была уверена, что он заступится за меня. Но почему я была уверена, кто подсказал мне, кто научил меня, что он меня любит более, чем матушка? Отчего к нему я подошла без страха? Он взял меня за руку, начал утешать, потом сказал, что хочет мне что-то показать, и приподнял меня на руках. Я ничего не могла видеть, потому что он схватил меня за ушибленную руку и мне стало ужасно больно; но я не закричала, боясь огорчить его. Он все спрашивал, вижу ли я что-нибудь? Я всеми силами старалась отвечать в угоду ему и отвечала, что вижу красные занавесы. Когда же он хотел перенести меня на другую сторону улицы, ближе к дому, то, не знаю отчего, вдруг начала я плакать, обнимать его и проситься скорее вверх, к матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех, кого я так хотела любить, – ласкает и любит меня и что к другой я не смела и боялась идти. Но матушка почти совсем не сердилась и отослала меня спать. Я помню, что боль в руке, усиливаясь все более и более, нагнала на меня лихорадку. Однако ж я была как-то особенно счастлива тем, что все так благополучно кончилось, и всю эту ночь мне снился соседний дом с красными занавесами.

И вот когда я проснулась на другой день, первую мыслью, первую заботою моею был дом с красными занавесами. Только что матушка вышла со двора, я вскарабкалась на окошко и начала смотреть на него. Уже давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особенно я любила смотреть на него ввечеру, когда на улице зажигались огни и когда начинали блестеть каким-то кровавым, особенным блеском красные, как пурпур, гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи на прекрасных, гордых лошадях, и все завлекало мое любопытство: и крик, и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Все это в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно-пышного и сказочно-волшебного. Теперь же, после встречи с отцом у богатого дома, дом сделался для меня вдвое чудеснее и

любопытнее. Теперь в моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия и предположения. И я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным, фантастическим ребенком. Меня как-то особенно поражал контраст их характеров. Меня поражало, например, то, что матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица, и я невольно задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не помогает ей, почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что батюшка артист (это слово я удержала в памяти), что батюшка человек с талантом; в моем воображении тотчас же сложилось понятие, что артист какой-то особенный человек, непохожий на других людей. Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль; может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти; но как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были, что «придет время, когда и он не будет в нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец, он воскреснет снова, когда умрет матушка». Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла оставаться в комнате, выбежала в наши холодные сени и там, облокотясь, на окно и закрыв руками лицо, зарыдала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об этом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, – фантазия вдруг пришла мне на помощь. Да я и сама не могла долго мучиться неизвестностью и должна была непременно остановиться на каком-нибудь предположении. И вот, – не знаю, как началось это все сначала, – но под конец я остановилась на том, что, когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мною. Но куда? – я до самого последнего времени не могла себе ясно представить. Помню только, что все, чем могла я украсить то место, куда мы пойдем с ним (а я непременно решила, что мы пойдем вместе), все, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в моей фантазии, – все было приведено в действие в этих мечтаниях. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты; я не буду ходить на посылках в лавочку, что было очень тяжело для меня, потому что меня всегда обижали дети соседнего дома, когда я выходила из дому, и этого я ужасно боялась, особенно когда несла молоко или масло, зная, что если пролью, то с меня строго взыщется; потом я порешила, мечтая, что батюшка тотчас сошьет себе хорошее платье, что мы поселимся в блестящем доме, и вот теперь – этот богатый дом с красными занавесами и встреча возле него с батюшкой, который хотел мне что-то показать в нем, пришли на помощь моему воображению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих

пор, по вечерам, я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом, припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала; мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетающие из окон; я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и все старалась угадать, что такое там делается, – и все казалось мне, что там рай и всегдашний праздник. Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в которых сама ходила, и когда однажды матушка закричала на меня и приказала сойти с окна, на которое я забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло на ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше счастье, что она хочет помешать ему и в этот раз... Целый вечер я внимательно и подозрительно смотрела на матушку.

И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдавшему существу, как матушка? Только теперь понимаю я ее страдальческую жизнь и без боли в сердце не могу вспомнить об этой мученице. Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного детства, в эпоху такого неестественного развития моей первой жизни, часто сжималось мое сердце от боли и жалости, – и тревоги, смущение и сомнение западали в мою душу. Уже и тогда совесть восставала во мне, и часто, с мучением и страданием, я чувствовала несправедливость свою к матушке. Но мы как-то чуждались друг друга, и не помню, чтоб я хоть раз приласкалась к ней. Теперь часто самые ничтожные воспоминания язвят и потрясают мою душу. Раз, помню (конечно, что я расскажу теперь, ничтожно мелко, грубо, но именно такие воспоминания как-то особенно терзают меня и мучительнее всего напечатлелись в моей памяти), – раз, в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю и сахару. Но она все раздумывала и все не решалась и вслух считала медные деньги, – жалкую сумму, которою могла располагать. Она считала, а думаю, с полчасца и все не могла окончить расчетов. К тому же в иные минуты, вероятно от горя, она впадала в какое-то бессмыслие. Как теперь помню, она все что-то приговаривала, считая, тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно; губы и щеки ее были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине.

– Нет, не нужно, – сказала она, поглядев на меня, – я лучше спать лягу. А? хочешь ты спать, Неточка?

Я молчала; тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково, лицо ее прояснело и озарилось такою материнскою улыбкой, что все

сердце заняло во мне и крепко забилося. К тому же она меня назвала Неточкой, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя, Анна, в уменьшительное Неточка, и когда она называла меня так, то значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тронута; мне хотелось обнять ее, прижаться к ней и заплакать с нею вместе. Она, бедная, долго гладила меня потом по голове, – может быть, уже машинально и позабыв, что ласкает меня, и все приговаривала: «Дитя мое, Аннета, Неточка!» Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучилась. Да, это не могло быть естественным ожесточением во мне. Она не могла так возбудить меня против себя единственно только строгостью своею со мною. Нет! меня испортила фантастическая, исключительная любовь моя к отцу. Иногда я просыпалась по ночам, в углу, на своей коротенькой подстилке, под холодным одеялом, и мне всегда становилось чего-то страшно. Впросонках я вспоминала о том, как еще недавно, когда я была поменьше, спала вместе с матушкой и меньше боялась проснуться ночью: стоило только прижаться к ней, зажмурить глаза и крепче обнять ее – и тотчас, бывало, заснешь. Я все еще чувствовала, что как-то не могла не любить ее потихоньку. Я заметила потом, что и многие дети часто бывают уродливо бесчувственны и если полюбят кого, то любят исключительно. Так было и со мною.

Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Отец и мать уставали ссориться, и я жила между ними по-прежнему, все молча, все думая, все тоскуя и все чего-то добиваясь в мечтах моих. Приглядываясь к ним обоим, я поняла вполне их взаимные отношения друг к другу: я поняла эту глухую, вечную вражду их, поняла все это горе и весь этот чад беспорядочной жизни, которая угнездилась в нашем углу, – конечно, поняла без причин и следствий, поняла настолько, насколько понять могла. Бывало, в длинные зимние вечера, забившись куда-нибудь в угол, я по целым часам жадно следила за ними, всматривалась в лицо отца и все старалась догадаться, о чем он думает, что так занимает его. Потом меня поражала и пугала матушка. Она все ходила, не уставая, взад и вперед по комнате по целым часам, часто даже и ночью, во время бессонницы, которою мучилась, ходила, что-то шепча про себя, как будто была одна в комнате, то разводя руками, то скрестив их у себя на груди, то ломая их в какой-то страшной, неистощимой тоске. Иногда слезы струились у ней по лицу, слезы, которых она часто и сама, может быть, не понимала, потому что по временам впадала в забытие. У ней была какая-то очень трудная болезнь, которою она совершенно пренебрегала.

Я помню, что мне все тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого я не смела прервать. Уже целый год жила я сознательную жизнь, все думая, мечтая и мучась потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались во мне. Я дичала, как будто в лесу. Наконец батюшка первым заметил меня, подозвал к себе и спросил, зачем я так пристально гляжу на него. Не помню, что я ему отвечала: помню, что он об чем-то задумался и наконец сказал, поглядев на меня, что завтра же принесет азбуку и начнет учить меня читать. Я с нетерпением ожидала этой азбуки и промечтала всю ночь, неясно понимая, что такое эта азбука. Наконец, на другой день, отец действительно начал учить меня. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни. Когда он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал, я тотчас же начинала плакать от восторга. Мало-помалу отец полюбил меня; я уже осмеливалась заговаривать с ним, и часто мы говорили с ним целые часы, не уставая, хотя я иногда не понимала ни слова из того, что он мне говорил. Но я как-то боялась его, боялась, чтоб он не подумал, что мне с ним скучно, и потому всеми силами старалась показать ему, что все понимаю. Сидеть со мною по вечерам обратилось у него наконец в привычку. Как только начинало смеркаться и он возвращался домой, я тотчас же подходила к нему с азбукой. Он сажал меня против себя на скамейку и после урока начинал читать какую-то книжку. Я ничего не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить ему этим большое удовольствие. Действительно, я занимала его и ему было весело смотреть на мой смех. В это же время он однажды после урока начал мне рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная, горела в нетерпении, следя за рассказом, переносилась в какой-то рай, слушая его, и к концу рассказа была в полном восторге. Не то чтоб так действовала на меня сказка, – нет, но я все брала за истину, тут же давала волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность. Тотчас являлся в воображении моем и дом с красными занавесами; тут же, неизвестно каким образом, являлся как действующее лицо и отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда, наконец, – или, лучше сказать, прежде всего – я, с своими чудными мечтами, с своей фантастической головой, полной дикими, невозможными призраками, – все это до того перемешалось в уме моем, что вскоре составило самый безобразный хаос, и я некоторое время потеряла всякий такт, всякое чутье настоящего, действительного и жила бог знает где. В это время я умирала от нетерпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас впереди, чего такого он сам ожидает и куда поведет меня вместе с собою, когда мы оставим наконец наш чердак. Я была уверена, с своей стороны, что все это как-то скоро

совершится, но как и в каком виде все это будет – не знала и только мучила себя, ломая над этим голову. Порой – и случалось это особенно по вечерам – мне казалось, что батюшка вот-вот тотчас мигнет мне украдкой, вызовет меня в сени; я, мимоходом, потихоньку от матушки, захвачу свою азбуку и еще нашу картину, какую-то дрянную литографию, которая с незапамятных времен висела без рамки на стене и которую я решила непременно взять с собою, и мы куда-нибудь убежим потихоньку, так что уж никогда более не воротимся домой к матушке. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, – а это случалось с ним, когда он чуть-чуть выпьет вина, – подсела к нему и заговорила о чем-то в намерении тотчас свернуть разговор на мою заветную тему. Наконец я добилась, что он засмеялся, и я, крепко обняв его, с трепещущим сердцем, совсем испугавшись, как будто приготавлилась говорить о чем-то таинственном и страшном, начала, бессвязно и путаясь на каждом шагу, расспрашивать его: куда мы пойдем, скоро ли, что возьмем с собою, как будем жить и, наконец, пойдем ли мы в дом с красными занавесами?

– Дом? красные занавесы? что такое? О чем ты бредишь, глупая?

Тогда я, испугавшись больше прежнего, начала ему объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла его, наконец, что он сам мне обещал все это. Уверяя его, я была совершенно уверена, что действительно отец мой говорил об этом прежде, по крайней мере мне это так казалось.

– Мать? Умерла? Когда умрет мать? – повторял он, смотря на меня в изумлении, нахмуря свои густые с проседью брови и немного изменившись в лице. – Что ты это говоришь, бедная, глупая...

Тут он начал бранить меня и долго говорил мне, что я глупый ребенок, что я ничего не понимаю... и не помню, что еще, но только он был очень огорчен.

Я не поняла ни слова из его упреков, не поняла, как больно было ему, что я вслушалась в его слова, сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила их и уже много думала о них про себя. Каков он ни был тогда, как ни было сильно его собственное сумасбродство, но все это, естественно, должно было поразить его. Однако ж, хоть я совсем не понимала, за что он сердит, мне стало ужасно горько и грустно; я заплакала; мне показалось, что все, нас ожидавшее, было так важно, что я, глупый ребенок, не смела ни говорить, ни думать об этом. Кроме того, хоть я и не поняла его с первого слова, однако почувствовала, хотя и

темным образом, что я обидела матушку. На меня напал страх и ужас, и сомнения закрались в душу. Тогда он, видя, что я плачу и мучусь, начал утешать меня, отер мне рукавом слезы и велел мне не плакать. Однако мы оба просидели несколько времени молча; он нахмурился и, казалось, о чем-то раздумывал; потом снова начал мне говорить; но как я ни напрягала внимание – все, что он ни говорил, казалось мне чрезвычайно неясным. По некоторым словам этого разговора, которые я до сих пор упомянула, заключаю, что он объяснял мне, кто он такой, какой он великий артист, как его никто не понимает и что он человек с большим талантом. Помню еще, что, спросив, поняла ли я, и, разумеется, получив ответ удовлетворительный, он заставил меня повторить: с талантом ли он? Я отвечала: «с талантом», на что он слегка усмехнулся, потому что, может быть, к концу ему самому стало смешно, что он заговорил о таком серьезном для него предмете со мною. Разговор наш прервал своим приходом Карл Федорыч, и я засмеялась и развеселилась совсем, когда батюшка, указав на него, сказал мне:

– А вот так у Карла Федорыча нет ни на копейку таланта.

Этот Карл Федорович был презанимательное лицо. Я так мало видела людей в ту пору моей жизни, что никак не могла позабыть его. Как теперь представляю его себе: он был немец, по фамилии Мейер, родом из Германии, и приехал в Россию с чрезвычайным желанием поступить в петербургскую балетную труппу. Но танцор он был очень плохой, так что его даже не могли принять в фигуранты и употребляли в театре для выходов. Он играл разные безмолвные роли в свите Фортинбраса или был один из тех рыцарей Вероны, которые все разом, в числе двадцати человек, поднимают кверху картонные кинжалы и кричат: «Умрем за короля!» Но, уж верно, не было ни одного актера на свете, так страстно преданного своим ролям, как этот Карл Федорыч. Самым же страшным несчастьем и горем всей его жизни было то, что он не попал в балет. Балетное искусство он ставил выше всякого искусства на свете и в своем роде был столько же привязан к нему, как батюшка к скрипке. Они сошлись с батюшкой, когда еще служили в театре, и с тех пор отставной фигурант не оставлял его. Оба виделись очень часто, и оба оплакивали свой пагубный жребий и то, что они не узнаны людьми. Немец был самый чувствительный, самый нежный человек в мире и питал к моему отчиму самую пламенную, бескорыстную дружбу; но батюшка, кажется, не имел к нему никакой особенной привязанности и только терпел его в числе знакомых, за неимением кого другого. Сверх того, батюшка никак не мог понять в своей исключительности, что балетное искусство – тоже искусство, чем обижал бедного немца до слез. Зная его слабую струнку, он всегда задевал ее и смеялся над несчастным Карлом Федоровичем, когда тот

горячился и выходил из себя, доказывая противное. Много я слышала потом об этом Карле Федоровиче от Б., который называл его нюрнбергским шелкуном. Б. рассказал очень многое о дружбе его с отцом; между прочим, что они не раз сходились вместе и выпив немного, начинали вместе плакать о своей судьбе, о том, что они не узнаны. Я помню эти сходки, помню тоже, что и я, смотря на обоих чудаков, тоже, бывало, расхныкаюсь, сама не зная о чем. Это случалось всегда, когда матушки не бывало дома: немец ужасно боялся ее и всегда, бывало, постоит наперед в сенях, дождется, покамест кто-нибудь выйдет, а если узнает, что матушка дома, тотчас же побежит вниз по лестнице. Он всегда приносил с собой какие-то немецкие стихи, воспламенялся, читая их вслух нам обоим, и потом декламировал их, переводя ломаным языком по-русски для нашего уразумения. Это очень веселило батюшку, а я, бывало, хохотала до слез. Но раз они оба достали какое-то русское сочинение, которое чрезвычайно воспламенило их обоих, так что потом они уже почти всегда, сходясь вместе, читали его. Помню, что это была драма в стихах какого-то знаменитого русского сочинителя. Я так хорошо затвердила первые строки этой книги, что потом, уже через несколько лет, когда она случайно попала мне в руки, узнала ее без труда. В этой драме толковалось о несчастиях одного великого художника, какого-то Дженоаро или Джакобо, который на одной странице кричал: «Я не признан!», а на другой: «Я признан!», или: «Я бесталантен!», и потом, через несколько строк: «Я с талантом!» Все оканчивалось очень плачевно. Эта драма была, конечно, чрезвычайно пошлое сочинение; но вот чудо – она самым наивным и трагическим образом действовала на обоих читателей, которые находили в главном герое много сходства с собою. Помню, что Карл Федорович иногда до того воспламенялся, что вскакивал с места, отбегал в противоположный угол комнаты и просил батюшку и меня, которую называл «мадмуазель», неотступно, убедительно, со слезами на глазах, тут же на месте рассудить его с судьбой и с публикой. Тут он немедленно принимался танцевать и, выделявая разные па, кричал нам, чтоб мы ему немедленно сказали, что он такое – артист или нет, и что можно ли сказать противное, то есть что он без таланта? Батюшка тотчас же развеселялся, мигал мне исподтишка, как будто предупреждая, что вот он сейчас презабавно посмеется над немцем. Мне становилось ужасно смешно, но батюшка грозил рукою, и я крепилась, задыхаясь от смеху. Я даже и теперь, при одном воспоминании, не могу не смеяться. Как теперь вижу этого бедного Карла Федоровича. Он был премаленького роста, чрезвычайно тоненький, уже седой, с горбатым красным носом, запачканным табаком, и с преуродливыми кривыми ногами; но, несмотря на то, он как будто хвалился устройством их и носил панталоны в обтяжку. Когда он останавливался, с последним прыжком, в позицию, простирая к нам руки и улыбаясь нам, как улыбаются на сцене танцовщики по окончании па,

батюшка несколько мгновений хранил молчание, как бы не решаясь произнести суждение, и нарочно оставлял непризнанного танцовщика в позиции, так что тот колыхался из стороны в сторону на одной ноге, всеми силами стараясь сохранить равновесие. Наконец батюшка с пресерьезною миною взглядывал на меня, как бы приглашая быть беспристрастною свидетельницей суждения, а вместе с тем устремлялись на меня и робкие, молящие взгляды танцовщика.

– Нет, Карл Федорыч, никак не потрафишь! – говорил наконец батюшка, притворяясь, что ему самому неприятно высказывать горькую истину. Тогда из груди Карла Федорыча вырывалось настоящее стенание; но вмиг он ободрялся, ускоренными жестами снова просил внимания, уверял, что танцевал не по той системе, и умолял нас рассудить еще раз. Потом он снова отбегал в другой угол и иногда прыгал так усердно, что головой касался потолка и больно ушибался, но, как спартанец, геройски выдерживал боль, снова останавливался в позитуре, снова с улыбкою простирал к нам дрожащие руки и снова просил решения судьбы своей. Но батюшка был неумолим и по-прежнему угрюмо отвечал:

– Нет, Карл Федорыч, видно – судьба твоя: никак не потрафишь!

Тут уж я более не выдерживала и покатывалась со смеху, а за мною батюшка. Карл Федорыч замечал наконец насмешку, краснел от негодования и, со слезами на глазах, с глубоким, хотя и комическим чувством, но которое заставляло меня потом мучиться за него, несчастного, говорил батюшке:

– Ты виrolёмный друк!

Потом он схватывал шляпу и выбегал от нас, клянясь всем на свете не приходить никогда. Но ссоры эти были непродолжительны; через несколько дней он снова являлся у нас, снова начиналось чтение знаменитой драмы, снова проливались слезы, и потом снова наивный Карл Федорыч просил нас рассудить его с людьми и с судьбою, только умоляя на этот раз уже судить серьезно, как следует истинным друзьям, а не смеяться над ним.

Раз матушка послала меня в лавочку за какой-то покупкой, и я возвращалась, бережно неся мелкую серебряную монету, которую мне сдали. Входя на лестницу, я повстречалась с отцом, который выходил со двора. Я засмеялась ему, потому что не могла удержать своего чувства, когда его видела, и он, нагибаясь поцеловать меня, заметил в моей руке серебряную монету... Я

позабыла сказать, что я так приучилась к выражению лица его, что тотчас же, с первого взгляда, узнавала почти всякое его желание. Когда он был грустен, я разрывалась от тоски. Всего же чаще и сильнее скучал он, когда у него совершенно не было денег и когда он не мог поэтому выпить ни капли вина, к которому сделал привычку. Но в эту минуту, когда я с ним повстречалась на лестнице, мне показалось, что в нем происходит что-то особенное.

Помутившиеся глаза его блуждали; с первого раза он не заметил меня; но когда он увидел в моих руках блеснувшую монету, то вдруг покраснел, потом побледнел, протянул было руку, чтоб взять у меня деньги, и тотчас же отдернул ее назад. Очевидно, в нем происходила борьба. Наконец он как будто осилил себя, приказал мне идти наверх, сошел несколько ступеней вниз, но вдруг остановился и торопливо кликнул меня.

Он был очень смущен.

– Послушай, Неточка, – сказал он, – дай мне эти деньги, я тебе их назад принесу. А? ты ведь дашь их папе? ты ведь добренькая, Неточка?

Я как будто предчувствовала это. Но в первое мгновение мысль о том, как рассердится матушка, робость и более всего инстинктивный стыд за себя и за отца удерживали меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал:

– Ну, не нужно, не нужно!..

– Нет, нет, папа, возьми; я скажу, что потеряла, что у меня отняли соседские дети.

– Ну, хорошо, хорошо; ведь я знал, что ты умная девочка, – сказал он, улыбаясь дрожащими губами и не скрывая более своего восторга, когда почувствовал деньги в руках. – Ты добрая девочка, ты ангельчик мой! Вот дай тебе я ручку поцелую!

Тут он схватил мою руку и хотел поцеловать, но я быстро отдернула ее. Какая-то жалость овладела мною, и стыд все больше начинал меня мучить. Я побежала наверх в каком-то испуге, бросив отца и не простившись с ним. Когда я вошла в комнату, щеки мои разгорелись и сердце билось от какого-то томительного и мне неизвестного доселе ощущения. Однако я смело сказала матушке, что уронила деньги в снег и не могла их сыскать. Я ожидала по крайней мере побой,

но этого не случилось. Матушка действительно была сначала вне себя от огорчения, потому что мы были ужасно бедны. Она закричала на меня, но тотчас же как будто одумалась и перестала бранить меня, заметив только, что я неловкая, нерадивая девочка и что я, видно, мало люблю ее, когда так худо смотрю за ее добром. Это замечание огорчило меня более, нежели когда бы я вынесла побои. Но матушка уже знала меня. Она уже заметила мою чувствительность, доходившую часто до болезненной раздражительности, и горькими упреками в нелюбви думала сильнее поразить меня и заставить быть осторожнее на будущее время.

В сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я, по обыкновению, дожидалась его в сенях. В этот раз я была в большом смущении. Чувства мои были возмущены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. Наконец отец воротился, и я очень обрадовалась его приходу, как будто думала, что от этого мне станет легче. Он был уже навеселе, но, увидев меня, тотчас же принял таинственный, смущенный вид и, отведя меня в угол, робко взглядывая на нашу дверь, вынул из кармана купленный им пряник и начал шепотом наказывать мне, чтоб я более никогда не смела брать денег и таить их от матушки, что это дурно и стыдно и очень нехорошо; теперь это сделалось потому, что деньги очень понадобились папе, но он отдаст, и я могу сказать потом, что нашла деньги, а у мамы брать стыдно, и чтоб я вперед отнюдь не думала, а он мне за это, если я вперед буду слушаться, еще пряников купит; наконец, он даже прибавил, чтоб я пожалела маму, что мама такая больная, бедная, что она одна на нас всех работает. Я слушала в страхе, дрожа всем телом, и слезы теснились из глаз моих. Я была так поражена, что не могла слова сказать, не могла двинуться с места. Наконец он вошел в комнату, приказал мне не плакать и не рассказывать ничего об этом матушке. Я заметила, что он и сам был ужасно смущен. Весь вечер была я в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца и не подходила к нему. Он тоже, видимо, избегал моих взглядов. Матушка ходила взад и вперед по комнате и говорила что-то про себя, как бы в забытьи, по своему обыкновению. В этот день ей было хуже и с ней сделался какой-то припадок. Наконец, от внутреннего страдания у меня началась лихорадка. Когда настала ночь, я не могла заснуть. Болезненные сновидения мучили меня. Наконец я не могла вынести и начала горько плакать. Рыдания мои разбудили матушку; она окликнула меня и спросила, что со мною. Я не отвечала, но еще горче заплакала. Тогда она засветила свечку, подошла ко мне и начала меня успокаивать, думая, что я испугалась чего-нибудь во сне. «Эх ты, глупенькая девушка! – сказала она, – до сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится. Ну, полно же!» И тут она поцеловала меня, сказав, чтоб я шла спать к ней. Но я не хотела, я не смела обнять ее и идти к ней. Я терзалась в

невообразимых мучениях. Мне хотелось ей все рассказать. Я уже было начала, но мысль о батюшке и его запрете остановила меня. «Экая ты бедненькая, Неточка! – сказала матушка, укладывая меня на постель и укутывая своим старым салопом, ибо заметила, что я вся дрожу в лихорадочном ознобе, – ты, верно, будешь такая же больная, как я!» Тут она так грустно посмотрела на меня, что я не могла вынести ее взгляда, зажмурилась и отворотилась. Не помню, как я заснула, но еще впросонках долго слышала, как бедная матушка уговаривала меня на грядущий сон. Никогда еще я не выносила более тяжелой муки. Сердце у меня стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало легче. Я заговорила с батюшкой, не поминая о вчерашнем, ибо догадывалась заранее, что это будет ему очень приятно. Он тотчас же развеселился, потому что и сам все хмурился, когда глядел на меня. Теперь же какая-то радость, какое-то почти детское довольство овладело им при моем веселом виде. Скоро матушка пошла со двора, и он уже более не удерживался. Он начал меня целовать так, что я была в каком-то истерическом восторге, смеялась и плакала вместе. Наконец, он сказал, что хочет показать мне что-то очень хорошее и что я буду очень рада видеть, за то, что я такая умненькая и добренькая девочка. Тут он расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее, на черном шнурке. Потом, таинственно взглядывая на меня, как будто желая прочесть в глазах моих все удовольствие, которое я, по его мнению, должна была ощущать, отворил сундук и бережно вынул из него странной формы черный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видала. Он взял этот ящик с какою-то робостью и весь изменился: смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Наконец, он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не видывала, – вещь, на взгляд очень странной формы. Он бережно и с благоговением взял ее в руки и сказал, что это его скрипка, его инструмент. Тут он начал мне что-то много говорить тихим, торжественным голосом; но я не понимала его и только удержала в памяти уже известное мне выражение, – что он артист, что он с талантом, – что потом он когда-нибудь будет играть на скрипке и что, наконец, мы все будем богаты и добьемся какого-то большого счастья. Слезы навернулись на глазах его и потекли по щекам. Я была очень растрогана. Наконец, он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне скрипку в руки; но я видела, как он весь дрожал от страха, чтоб я как-нибудь не разбила ее. Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ферсит (Терсит) – в греческой мифологии незнатный воин, враг Ахилла и Одиссея.

Купить: <https://tellnovel.com/fedor-dostoevskiy/netochka-nezvanova-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)